
Снег не помнит имён

Николай Четвериков
Снег не помнит имён

https://litres.ru/74782909
SelfPub; 2026

Аннотация

Аннотация

Её звали Зарицей — Матерью огня. Толпы пели ей, города горели за неё. А убил её тот, кого она любила, — и мир не дрогнул.

Она проснулась в чужом снегу, в монастыре на Руси Смутного времени, под именем «найдёныш» — без языка, без короны, без прошлого. Огонь больше не слушался. Были только шрам под рёбрами, серебряная брошь под рубахой и далёкий зов дракона, который ждал.

Сотник Игнат Кожин со своей сотней провалился в Семиземелье прямо из боя — без князя, без полка, без Руси. Пороха на два залпа. И строй, который надо держать, потому что иначе они перестанут быть собой.

Между ними — зима, война и человек, который чистит яблоко одной длинной лентой кожуры и хочет владеть бурей. А под замком Заволочья уже гудит земля: она начала петь Песнь Камня.

История на тонкой грани двух миров — Смуты 1608 года и Семиземелья, где вещи помнят хозяев, а земля помнит всё. И не прощает тех, кто забыл.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	25
Глава 5	30

Николай Четвериков
Снег не помнит имён

Глава 1

Глава 1. Снег не помнит имён

Холод был первым, что она почувствовала.

Не тот сухой мороз, о котором рассказывал Тихон, — тот, что щиплет щёки и звенит под сапогом. Другой — сырой, тяжёлый, с запахом мокрой шерсти, ладана и чего-то кислого, вроде старого молока. Он забирался под кожу, как чужие пальцы. Она открыла глаза. Над ней был низкий свод, сложенный из камня, тёмного от копоти. В углу горела лампада — маленький огонёк в красном стекле. Она потянулась к нему. Привычно. Как всегда, тянулась к огню, потому что огонь был её. И ничего не случилось. Пламя не дрогнуло, не склонилось, не потянулось к её ладони. Оно просто горело — ровно, скучно, как горит всё в мире, где её больше нет. Дана опустила руку.

— Жива, — сказал кто-то рядом.

Голос был мужской, низкий, слова — чужие. Она не поняла ни одного. Но интонация была понятна: не радость, не страх. Просто констатация. Как о лошади, которая пережила ночь.

Она повернула голову. У стены сидел человек в чёрном, длинном, до пола. Борода, тёмные глаза, руки сложены на коленях. Рядом с ним — ещё двое, помоложе, в таких же чёрных одеждах. Они смотрели на неё так, как смотрят на вещь, которую нашли в поле и не знают, что с ней делать. Она попыталась сесть. Тело отозвалось болью — резкой, честной, живой. Боль в боку, под рёбрами. Она коснулась рукой и нащупала ткань, пропитанную чем-то липким. Перевязь. Её перевязали. Шрам. Память вернулась не картинкой, а толчком — холод металла, лицо Тихона над ней, его глаза, в которых было что-то, чего она не смогла простить. Потом — темнота. Потом — крылья. Рагор. Его крик, от которого дрожала земля.

Монах — она поняла, что это монах, по одежде, — подал ей деревянную ложку. В ней была вода. Простая вода, холодная, с привкусом дерева. Она выпила. Он что-то сказал, медленно, раздельно, будто говорил с ребёнком. Она покачала головой. Он вздохнул и повторил, показывая рукой на неё, потом на дверь, потом на небо. Она не понимала. И впервые за долгое время почувствовала не гнев, не страх, не жажду мести. Растерянность. Ту самую, детскую, когда мир перестаёт отвечать на твоём языке. Её звали — так они решили — «найдёныш». Или что-то в этом роде. Слово звучало как «подкидыш», и монахи произносили его без злобы, скорее с усталой привычкой. Дни шли одинаково. Свет, темнота, молитва, еда. Жидкая каша, хлеб, иногда рыба. Она ела молча и

смотрела. Мир за окном был белым и серым. Снег, снег, снег — и чёрные силуэты людей, которые шли мимо с иконами, с узлами, с детьми на руках. Иногда кто-то кричал. Иногда кто-то плакал. Один раз она видела, как у ворот монастыря двое мужиков дрались за мешок — молча, зло, пока третий не разнял их палкой. Здесь тоже был голод. Здесь тоже была война. Она узнавала это по лицам — по тем самым лицам, которые видела в Медном городе, в Железном городе, в Червонграде. Лица людей, у которых отняли всё и которые уже не помнят, как это — иметь. На третий день она попробовала встать. Монахиня — сухая, быстрая, с руками в трещинах — подхватила её под локоть и повела по коридору. Камень, дерево, запах воска. В конце коридора была дверь. Монахиня открыла её, и Дана вышла во двор. Снег ударил в лицо. Она зажмурилась. А потом услышала. Не крик. Не рёв. Что-то глубже — низкий, протяжный звук, который шёл не от уха, а от земли. От костей. От того места под рёбрами, где был шрам. Рагор. Но она услышала и другое. За гулом ветра, за скрипом дерева, за биением собственного сердца она услышала тишину. Пустоту. Там, за тысячи вёрст, за краем мира, не было холода. Там было ничто. И эта пустота звенела в её собственных костях.

— Где… — начала она и остановилась. Горло было сухим, как песок.

Она открыла глаза и посмотрела на лес. Но смотрела не глазами. Она смотрела сквозь белую мглу, сквозь стволы со-

сен, туда, где на дне оврага билось огромное, горячее сердце. Она видела его не как зверя. Как пятно живого света в мёртвом лесу. Монахиня что-то сказала, тревожно дёргая её за рукав. Дана не слушала. Она смотрела на запад. Туда, где за тысячи вёрст, в мире, где вещи помнят хозяев, другой человек в этот же миг смотрел на север. И тоже ничего не понимал. Где-то там, за стеной, на дне оврага, что-то огромное ворочалось во сне. Она чувствовала его так, как чувствуют собственную руку в темноте — не видя, но зная, что она есть. Монахиня снова потянула её за рукав. Дана не слушала. Она смотрела на лес и понимала две вещи. Первое: дракон жив. И он ждёт. Второе: между ней и им — зима, чужие люди и целый мир, который не знает её имени. Она вернулась в келью. Села на солому. Монахи молились в углу, их бормотание сливалось в один сплошной гул. Она не понимала слов, но ритм успокаивал.

Под рубахой, на шнурке, висела брошь — серебряная голова дракона. Она не снимала её ни днём, ни ночью и никому не показывала. Монахи не знали о ней — и не должны были узнать. Единственное, что у неё осталось от прошлой жизни.

Она закрыла глаза, пытаясь унять дрожь в пальцах. И вдруг поняла, что думает о себе.

Она пыталась вспомнить, как её звали. Не то, что кричали толпы — «Зарица», «Мать». Это были маски. Она пыталась найти то имя, которое было у неё до того, как она вышла из огня.

Она вспомнила брата. Огнеслава. Его крик. «Ты никто. Тебя не существует». Она вспомнила Святогора. «Дана».

Она произнесла это имя вслух. Тихо. На палимском. Дана.

Слово оказалось простым, тёплым. Оно не пахло пеплом и гарью — оно пахло домом. Оно принадлежало девочке, которая была до огня.

Она открыла глаза. Пусть для них она будет «Найдёныш». Но она вспомнила. Она — Дана. И это имя она никому не отдаст. Никому.

Вечером того же дня в монастырь пришли люди. Их было пятеро. Не монахи — воины. В тулупах, с саблями, с лицами, обветренными так, что казались вырезанными из дерева. Старший — седой, с широкой бородой — говорил с настоятелем долго и тихо.

Потом настоятель позвал её. Она вышла. Седой посмотрел на неё, как смотрят на товар: с головы до ног, без интереса, но внимательно.

— Откуда? — спросил он по-русски.

Она молчала. Он повторил, ткнув пальцем в неё, потом в дверь, потом в снег за окном. Вопрос был простой: откуда ты пришла. Она не могла ответить. Не потому, что не знала слов — потому, что не знала, как объяснить. Что она пришла из другого мира. Что она умерла. Что её убил человек, которого она любила. Седой подождал. Потом усмехнулся — коротко, без злобы — и сказал что-то настоятелю. Тот кивнул. Монахиня перевела ей жестами: эти люди уходят, но вернутся. Че-

рез неделю. Может, через две. Они заберут её с собой. Дана посмотрела на седого. Он смотрел на неё. И в его глазах не было ни страха, ни благоговения. Только расчёт. Так смотрят на инструмент, который может пригодиться. Она знала этот взгляд. Слишком хорошо знала. И впервые за долгое время почувствовала что-то похожее на интерес.

Седой приходил и ушёл ни с чем. Но слова уже пошли дальше — с обозами, по деревням, на север. Слух о странной женщине в монастыре. А слух всегда находит того, кому нужен.

Ночью она не спала. Лежала на соломе, слушала, как храпят монахи за стеной, как скрипит дерево от мороза. И думала. Она умерла. Это было правдой, от которой никуда не деться. Тихон убил её — и мир не рухнул, небо не упало на землю. Просто стало темно. А потом — холод, свод, лампада. Она не знала, зачем её сюда занесло. Не знала, кто эти люди, что за страна, что за война, от которой бегут крестьяне с иконами. Не знала, вернётся ли она когда-нибудь домой — и есть ли ещё дом. Но она знала одно. Рагор ждёт. И пока он ждёт, она не позволит себе снова стать той, кем была в последние дни. Той, которая сжигала города, потому что не могла иначе. Той, которая требовала любви и получала страх. Здесь, в этом снегу, в чужом монастыре, без языка, без имени, без короны — она могла начать заново. Или снова всё разрушить. Она закрыла глаза и потянулась к нему — туда, в лес, в овраг, в темноту. И почувствовала, как что-то

огромное, тёплое, живое отзывается. Слабо. Далеко. Но отзывается.

— Подожди, — прошептала она на языке, которого здесь никто не знал.

— Я иду.

Глава 2

Глава 2. Строй

Передовой отряд вошёл в Земли дубовых рощ на рассвете.

Их было двадцать конных и полсотни пеших. Красные плащи, факелы, длинные копья. Они шли не спеша, как ходят по своей земле, — останавливались, заглядывали в брошенные дома, выгоняли скот, поджигали то, что не могли унести. К полудню за ними тянулся дымный след длиной в версту.

Сотник Игнат Фёдорович Кожин лежал на бугре, в мокрой траве, и считал.

Двадцать конных. Полсотни пеших. У него — сотня, но половина с пищалями, а пороха мало. Он считал уже третий раз, и каждый раз выходило одно и то же: бить можно, но только один раз. Второго не будет.

Рядом, в траве, лежал пятидесятник Терентий Савельев — молодой, с пробивающейся бородой, с нетерпеливыми руками. Он тоже считал, но по-своему: где встать, где ударить, как отрезать конных от пеших.

— Сотник, — сказал он тихо, не отрывая взгляда от склона. — Их вдвое меньше.

— Я их уже тоже сосчитал, — отозвался Игнат Фёдорович ровно, будто речь шла не о врагах, а о снопах на гумне.

— И у них кони. Терентий чуть приподнялся на локте.

— А у нас пищали.

Терёха замолчал. Потом сказал:

— Там, за рекой, деревня.

Игнат посмотрел. За рекой, в низине, стояла деревня. Дым над ней уже поднимался, тонкий, серый.

— Знаю, — сказал сотник. — Утром посылал туда лазутчиков. Говорят: мужиков в деревне нет — одни бабы, старики да малые дети. Держит их вдова. Одна.

Он лежал ещё минуту. Думал не о славе и не о чести — о том, что конные ударят первыми если их не остановить, что четверо или пятеро из его людей сегодня не вернутся. Он думал о том, что мог бы уйти. Отвести сотню за реку, в лес, переждать. Никто бы не узнал. Никто бы не осудил.

Он поднял голову и посмотрел на своих людей. Те лежали в траве вдоль бугра, тихие, ждали. Кто-то крестился. Кто-то проверял фитиль. Пороховщик Савва Прокопьев сидел на корточках, прикрыв мешок с порохом полой, будто грел его.

— Савва, — позвал сотник.

Тот подполз.

— Сколько?

— На два добрых залпа. И на один — если в упор.

— В упор не надо, — сказал Игнат.

— Будем бить с бугра. Залп — по конным.

Савва кивнул и уполз.

Сотник повернулся к Терёхе:

— Возьмёшь двадцать человек, встанешь на левом краю.

Как только ударим — пойдёшь вниз и отрежешь тех, кто попробует уйти за реку. Без моего знака — не дышать.

— А если они раньше?

— Тогда сам решишь.

Терёха кивнул. В его глазах было что-то, чего сотник не любил, — азарт. Молодой ещё. Но он кивнул и уполз, и это было главное.

Игнат посмотрел на реку, на дым, на красные плащи внизу. Потом сказал негромко, ни к кому не обращаясь:

— Господи, прости, что не ушёл.

И поднял руку.

Залп ударил, когда отряд вошёл в низину.

Грохот раскатился над рекой, отскочил от воды, от леса. Кони вздыбились, красные плащи попадали в грязь, кто-то закричал, кто-то побежал, не понимая, откуда пришла смерть. Дым поплыл низко над травой, и в этом дыму сотня пошла вниз.

Терёха со своими двадцатью уже был на левом краю. Он ударил вовремя — отрезал бегущих от брода, и те заметались, стиснутые между рекой и бугром.

Дальше была работа.

Сотник не любил эту часть. Он шёл вниз, держа саблю низко, и делал то, что делал всегда: коротко, без замаха, не глядя в лицо. Рядом рубились его люди. Кто-то кричал. Кто-то падал. Савва, бросив мешок, бил прикладом пищали, как дубиной, — неумело, но зло.

Конный в красном плаще вылетел из дыма прямо на него. Игнат успел отшатнуться, сабля прошла по воздуху, и тогда он ударил сам — снизу, в бок коня. Конь рухнул, всадник покатился в траву, и сотник добил его, не глядя.

Когда дым рассеялся, в низине было тихо.

Двадцать конных и полсотни пеших остались лежать в траве и в грязи у реки. Не все — человек десять ушли, кто в лес, кто за брод. Но передового отряда больше не было.

Сотня потеряла четверых. Ещё шестеро были ранены — кто легко, кто не очень. Савва сидел на земле, прижимая к груди мешок с остатками пороха, и тяжело дышал. Терёха стоял по колено в воде, с окровавленной саблей, и смотрел на реку.

Игнат вытер саблю о траву. Потом подошёл к убитому командиру — тот лежал у самой воды, в богатом плаще, с золотым туром на груди. Молодой. Лет двадцати пяти. Сотник посмотрел на него, потом наклонился и закрыл ему глаза.

— Соберите наших, — сказал он.

— И этих тоже. Зароем.

— Их? — удивился кто-то из стрельцов.

— Их, — сказал Игнат. Они тоже люди.

Стрелец хотел что-то сказать, но промолчал и пошёл.

Ночью они сидели у костра за деревней.

Сотня расположилась в роще, на сухом месте: выставили караулы, перевязали раненых, поели того, что нашли в деревне. Савва сидел отдельно, разложив на коленях мешок, и

пересчитывал остатки пороха — по горсти, по щепотке, будто это были монеты.

Терёха подсел к сотнику — не рядом, а почти вплотную, будто искал в его спокойствии опору.

— Четверо, — сказал он, и голос чуть дрогнул, но он тут же сжал зубы. — И шестеро раненых.

— Знаю, — ответил Игнат, не поднимая глаз.

— Пороха осталось на один залп, — повторил Терёха, будто надеялся, что, если сказать это вслух, кто-то другой возьмёт эту правду на себя.

— Знаю.

Терёха помолчал. Потом сказал:

— Нас теперь заметят.

— Заметят, — согласился Игнат. И в этом коротком слове прозвучало не сомнение, а принятие: хуже уже не будет.

— И что тогда?

Сотник смотрел в огонь. Думал о том, что не знает, где они. Что не знает, кто эти люди в красных плащах и почему у них на груди тур. Что не знает, вернутся ли они когда-нибудь домой — и вернутся ли вообще куда-нибудь.

Он думал о Пожарском. О том, как князь лежал на телеге в обозе, бледный, с перевязанным боком, и хрипел: «Строй держите, не бегите». Сотник тогда кивнул и пошёл к своим. А потом стало тихо, и бело, и он очнулся уже здесь, в чужой траве, без князя, без полка, без Руси.

Он не знал, жив ли князь. Не знал, ищут ли их. Не знал,

помнят ли.

Но он знал, что пока он жив, его люди будут держать строй. Не потому, что так велел Пожарский, — а потому, что иначе они перестанут быть собой. А это было хуже смерти.

— Тогда будем держать строй, — сказал он вслух.

Терёха посмотрел на него. Не понял. Но кивнул.

Савва у костра поднял голову:

— Сотник. Селитры тут нет. Я смотрел — земля другая. Надо искать. Долго искать.

— Ищи, — сказал Игнат, сколько надо, столько и ищи.

Савва кивнул и снова уставился в мешок.

И добавил, не поднимая головы:

— Уже обошёл рощу до воды. Золу нашёл — золу-то в порох не смей! А вот селитры здесь нет.

А сотник закрыл глаза и увидел снег. Не тот, к которому привык, — другой, густой, белый, до горизонта. И в этом снегу стояла женщина с серебряными волосами и смотрела прямо на него. Он хотел спросить, кто она, но не было слов. А она всё смотрела и смотрела, и во сне у неё был шрам под рёбрами, как у него самого — только у него под ключицей, а у неё — там, где сердце.

Он проснулся от холода.

Костёр догорал. Терёха спал, привалившись к дереву. Савва то же спал, крепко зажав горловину мешка в руке. В деревне за рощей было тихо.

Сотник подбросил хвороста в огонь и сел рядом, глядя,

как пламя поднимается и опадает. Он не знал, что это было — сон или что-то другое. И ещё там было что-то — чёрное, на краю, чего он не смог назвать. Оно смотрело. И во взгляде этом не было злости — только равнодушие, от которого стыла кровь.

Утром надо было решать, что делать дальше.

Глава 3

Глава 3. Яблоко

Шатёр стоял на холме, над лагерем, и ветер рвал знамёна так, что казалось — вот-вот сорвёт.

Внутри было тепло. Ковры на земле, свечи в серебряных шандалах, на столе — жареная птица, вино, хлеб. Снаружи часовые переминались с ноги на ногу, втягивали головы в воротники, дышали на руки. Внутрь никто не заходил без зова.

Он сидел не за столом. На сундуке, у самой свечи, расстегнув кафтан, и чистил яблоко ножом. Медленно, аккуратно, снимая кожуру одной длинной лентой. Казалось, это было важнее всего на свете.

Воевода стоял у входа и ждал.

— Сколько? — спросил он, не поднимая глаз.

— Пяти тысяч не наберётся, государь.

— А точнее?

— Четыре с половиной. Может, меньше.

Он отрезал ломтик, отправил в рот, прожевал. Кожура всё вилась, не обрываясь.

— А что поляки?

— Обещают ещё. Сапега пишет, что будет. Но денег просят вперёд.

— Деньги будут.

— Государь…

— Я сказал — будут.

Он поднял глаза. Воевода осёкся. Не от страха — от чего-то другого, от того, как спокойно это было сказано. Так говорят о вещах, которые уже решены.

— Мне не нужны пять тысяч, — сказал он, отрезая ещё ломтик. Мне нужно, чтобы обо мне говорили. Чем громче, тем лучше.

— Говорят, государь.

— Да? И что говорят?

Воевода помялся. Пошевелил пальцами, будто перебирал слова.

— Говорят, что ты… что ты настоящий.

Лжедмитрий усмехнулся. Не зло — почти ласково.

— Вот и пусть говорят.

Он отложил нож. Кожура упала на ковёр длинной спиралью. Он посмотрел на неё, потом на воеводу.

— Слушай меня внимательно. Я не воюю с Москвой. Я воюю со слухом. Пока люди верят, что я царевич, — я царевич. Замолчат — я самозванец, и тогда меня повесят. Всё просто.

— А если не поверят?

— Поверят.

Он вытер руки о полотенце.

— Люди хотят верить. Им не нужен настоящий царь — им нужен царь, который похож на настоящего. А я похож.

Он встал, подошёл к столу, налил вина. Не себе — воеводе. Протянул.

— Пей.

Тот взял. Выпил залпом.

— А теперь скажи мне, — сказал Лжедмитрий, глядя на него сверху вниз, — что там за женщина?

Воевода замер.

— Женщина, государь?

— В монастыре. Под Москвой. Которую не берёт огонь.

Он снова сел на сундук, скрестив руки на груди.

— Ты думаешь, я не слышу, о чём шепчутся в лагере? Я слышу всё. Я плачу за это.

— Слухи, государь. Бабьи сказки.

— Сказки — это моя работа, — сказал Лжедмитрий.

— Расскажи.

Воевода переступил с ноги на ногу. Потом начал, осторожно, подбирая слова:

— Говорят, нашли её в снегу. В монастыре. Без памяти, без языка. Одежда чудная, не наша. Монахи думали — помрёт, а она выжила. И будто бы… — он запнулся, — будто бы огонь её слушается.

— Слушается?

— Так говорят. Она руку протянет — и свеча гаснет. Или, наоборот.

Он пожал плечами.

— Я сам не видел.

Лжедмитрий молчал. Смотрел в свечу, и в его глазах плясало пламя.

— А ещё что?

— Ещё…

Воевода понизил голос.

— Ещё говорят, будто она не одна. Будто в лесу за монастырём что-то есть. Большое. Ревёт по ночам.

— Что именно?

— Не знаю, государь. Люди боятся ходить туда.

Лжедмитрий откинулся назад. Долго смотрел в потолок шатра, будто видел там что-то.

— Привези мне всё, — сказал он наконец. Всё, что о ней говорят. Каждое слово. Каждую сплетню. Мне нужно знать, кто она, откуда и что у неё в лесу.

— Государь, это бабьи…

— Я не спрашиваю, что это.

Голос не повысился, но воевода замолчал.

— Я велю привезти. Понял?

— Понял, государь.

— Иди.

Воевода поклонился и вышел. Полог шатра качнулся и опал.

Лжедмитрий остался один.

Он сидел ещё минуту неподвижно. Потом встал, подошёл к походному сундуку в углу, откинул крышку. Под одеждой, под бумагами, в двойном дне, лежала шкатулка. Маленькая,

окованная медью.

Он достал её. Открыл.

Внутри — на бархате — лежала печать. Круглая, тяжёлая, с двуглавым орлом. Такая же, как на грамотах настоящих царей. Он достал её, повертел в пальцах, посмотрел на свет.

Потом достал из шкатулки вторую вещь — маленький, пожелтевший лист бумаги, сложенный вчетверо. Развернул. На нём было написано что-то по-польски, и внизу стояла подпись.

Он читал долго. Потом сложил лист, убрал обратно в шкатулку, закрыл крышку.

— Значит, женщина, которую не берёт огонь, — сказал он в пустоту.

— И что-то в лесу.

Он усмехнулся. Не весело — расчётливо.

— Что ж. Если она настоящая — она мне пригодится. Если нет — повесят как ведьму. В любом случае я выиграю.

Он погасил свечу пальцами — коротко, без страха, будто привык. И вышел в темноту.

Лагерь спал.

Он шёл между шатрами, и никто его не останавливал. Часовые вытягивались, но он не смотрел на них. Он смотрел вперёд — туда, где за холмом, за лесом, лежала дорога на Москву.

У одного из костров сидели трое. Поляки. Наёмники. Они пили и говорили громко, не таясь. Он остановился, прислу-

шался.

—…и этот царевич, — говорил один, толстый, с обвисшими усами.

— Думаешь, он настоящий?

— Какая разница, — ответил второй.

— Платит.

— Платит, — согласился третий.

— А если обманет?

Первый засмеялся.

— Тогда мы его повесим. И найдём другого.

Лжедмитрий стоял в темноте и слушал. Лицо его не изменилось. Он подождал, пока они замолчат, потом шагнул к костру.

Поляки вскочили. Толстый поперхнулся вином.

— Государь…

— Сидите, — сказал он спокойно.

— Пейте.

Они сели. Он присел на бревно рядом — просто, по-свойски, будто был одним из них.

— Вы правы, — сказал он.

— Если я обману — меня повесят. Это честно.

Он взял с земли чужую кружку, отпил.

— Но я не обману. Знаете почему?

Поляки молчали.

— Потому что я не собираюсь проигрывать, — сказал он.

— А вы — не собираетесь умирать. Мы нужны друг другу.

Пока.

Он вернул кружку, встал.

— Утром выступаем. Кто проспит — пойдёт пешком.

И пошёл дальше, в темноту, не оглядываясь.

В шатре он снова достал шкатулку.

На этот раз он вынул не печать и не бумагу. Он вынул маленькое зеркало в серебряной оправе. Посмотрел в него — на своё лицо, на свои глаза.

— Кто ты? — спросил он тихо.

— Настоящий царевич? Или самозванец?

Он улыбнулся своему отражению.

— Какая разница. Пока верят — я царь.

Он закрыл зеркало и убрал в шкатулку. Потом сел на сундук, сложил руки на коленях и замер, глядя в одну точку. За пологом шатра шёл снег. Шёл четвёртый год Смуты. А за лесом, за холмом, в маленьком монастыре под Москвой, женщина с серебряными волосами спала и не знала, что о ней уже говорят. И что человек с яблоком и ножом уже решил, что она будет его.

Глава 4

Глава 4. Иду

Она ушла до рассвета.

Не потому, что решила, — потому что поняла, что не сможет ждать. Монахиня Агафья спала у двери, свернувшись на соломе, и Дана переступила через неё тихо, как училась в детстве, когда бегала из дома с красной дверью. Сапоги оставила — они были чужие, тяжёлые, скользили. Пошла босиком, в шерстяных чулках, в накидке, которую ей дали.

Дверь во двор скрипнула. Она замерла. Агафья не проснулась.

Снег был неглубокий — только выпал, ещё не слежался. Она шла по краю двора, вдоль стены, туда, где в заборе была щель. Монахи заделали её досками, но доски отходили — она видела, как мальчишка-послушник лазил через неё за дровами.

Она отогнула доску. Протиснулась.

За стеной был лес.

Она не знала, куда идти. Знала только направление — то самое, откуда шёл зов. Не звук, не голос. Что-то глубже, ровнее, как биение второго сердца, которое билось не в ней, а рядом.

Снег скрипел под ногами. Лес стоял тёмный, молчаливый, и в этом молчании было что-то, чего она не помнила в Семи-

земелье. Там леса шумели. Здесь — молчали. Будто ждали.

Она шла долго. Ноги промокли, холод забрался под накидку, но она не останавливалась. Останавливаться было страшнее, чем идти.

Рагор отзывался. Слабо, далеко, но отзывался — и с каждым шагом ближе. Она чувствовала его боль — тупую, глубокую, где-то в груди или в крыле. Он был ранен. Сильно.

Она ускорила шаг.

Дана нашла его в овраге к полудню. Овраг был глубокий, заросший, и внизу, под снегом, чернела вода. Дана остановилась на краю, держась за ствол, и посмотрела вниз.

Рагор лежал на дне.

Огромный, тёмный, свернувшийся клубком, как раненый пёс. Одно крыло подмято под тело, другое — раскинуто, и на нём, сквозь чешую, виднелась рана. Длинная, будто от чего-то острого. Он дышал — тяжело, с хрипом, и от каждого выдоха снег вокруг него таял и снова замерзал.

Она спустилась.

Скользила, падала, цеплялась за корни. Один раз сорвалась и покатилась, но удержалась. Рагор не шевелился — только голова повернулась, и глаз, огромный, тёмный, уставился на неё.

Он узнал.

Она подошла, опустилась на колени рядом с его головой. Положила руку на чешую — холодную, твёрдую, живую. Рагор выдохнул, и от этого выдоха ей стало тепло.

— Я здесь, — сказала она.

Он не мог ответить. Но она почувствовала, как что-то в ней — то самое второе сердце — наконец успокоилось. Будто до этого оно билось врозь, а теперь снова совпало.

Она осмотрела рану.

Длинная, брала начало у основания крыла и тянулась до его середины. Там, где чешуя была тоньше, а движение крыла сильнее всего. Не свежая — уже начала затягиваться, но плохо, криво. Что-то в ней осталось — она чувствовала, нащупывала под чешуёй что-то твёрдое, чужое.

Она не знала, что это. Не знала, как вытащить. Не знала, чем промыть.

Дана почувствовала себя беспомощной. Не королевой, не матерью драконов — просто женщиной, которая стоит на коленях в снегу и не знает, что делать.

Она злилась.

Сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Рагор смотрел на неё и не двигался.

Потом успокоилась.

Встала. Посмотрела на рану ещё раз — внимательно, как смотрела когда-то на карты, на людей, на города, которые собиралась брать.

— Ладно, — сказала она.

Сняла накидку. Разорвала её на полосы — неловко, зубами, потому что руки не слушались. Промыла рану снегом, сколько смогла. Приложила тряпки. Рагор дёрнулся, но не

зарычал.

— Терпи, — сказала она.

— Терпи, глупый.

Он терпел.

К Вечеру она поняла, что не дойдёт обратно.

Стемнело быстро. Лес стал ещё тише, и в этой тишине она слышала звуки, которых раньше не замечала: чей-то вой далеко, треск ветки, шорох. Она сидела у головы Рагора, прижавшись к его шее, и смотрела в темноту.

Он согревал. От него шло тепло — ровное, живое, как от печи. Она впервые за много дней почувствовала, что ей не холодно.

И в этой темноте, в этом тепле, она вдруг увидела.

Не сон — что-то другое. Будто открылась дверь, и за ней — поле. Чужое, незнакомое, трава по пояс, низкое небо. Люди в чёрных кафтанах, с длинными ружьями. Один стоит впереди, не старый, лет тридцати пяти, с пробивающейся сединой на висках, с усталым лицом, шрамом под ключицей, который она не увидела, но почувствовала. И смотрит прямо на неё.

Она хотела спросить, кто он. Но не было слов.

Он тоже молчал. Только смотрел — так, как смотрят на человека, которого видели во сне и не могут вспомнить где. И было ощущение, что смотрят не из поля, а сверху. С высоты. Как смотрят с башни.

Потом дверь закрылась.

Дана открыла глаза. Рагор спал. Снег шёл.

Утром она вернулась в монастырь.

Её уже искали. Агафья стояла у ворот, бледная, с красными глазами, и когда увидела её — сначала закричала, потом заплакала, потом схватила за руку и потащила внутрь, ругаясь на своём языке.

Дана не сопротивлялась.

Настоятель ждал в трапезной. Он не кричал. Смотрел долго, тяжело, потом сказал что-то — коротко, и Агафья перевела жестами: больше не уходить. Никогда.

Дана кивнула.

Она не собиралась объяснять. Не могла. Но она знала теперь то, чего не знала раньше: Рагор жив, он рядом, и она найдёт способ его вылечить. Даже если для этого придётся научиться говорить, понимать, жить в этом мире.

Она села за стол. Взяла ложку. Съела кашу.

Агафья смотрела на неё, не понимая, что изменилось.

А изменилось всё. У Даны появилась цель — не трон, не корона, не месть. Просто вылечить дракона. И для этого — выжить.

Глава 5

Глава 5. Мальчик, который видит

Снег шёл третий день.

Он сидел у окна и смотрел, как белое ложится на белое — на крыши, на стены, на двор, где кто-то ходил и оставлял следы, которые тут же заносило. Следы исчезали быстро. К утру их не будет.

Он знал, что в снегу есть что-то ещё. Не белизна — белое пятно. Ровное, как чистая страница, которую нечем заполнить. Оно было там давно. Он привык его видеть и привык не понимать.

Ворона прилетала уже третью зиму. Она не боялась его и не выпрашивала хлеба — садилась на карниз и сидела, сколько хотела, склонив голову набок, как слушающая. Ключница называла её дурной птицей. Мальчик знал другое: она смотрела туда же, куда и он, — только без страха. В доме боялись его уходов. Ворона не боялась ничего. Он ценил это.

Зимой он спросил у лекаря, почему человек ходит. Лекарь сказал: потому что ноги сильные. Мальчик подумал, что лекарь отвечает не на тот вопрос: видел же он, как люди идут — не ногами, а нитками, от одной вещи к другой.

Он не закричал. Он уже умел не кричать. Просто запомнил: люди — это тоже нити, только подвешенные не к потолку, а к чему-то, чего он ещё не видел.

Не лица — нитки. Над поваром тянулась серая, толщиной в конский волос. Над конюхом — две, перекрещенные, будто скакал шаг через шаг. Над кучером не было ничего, и это было страннее всего: пустота над головой человека, который возил его каждый день.

В розвальнях его возили по двору раз в неделю — снег для здоровья, говорил лекарь. Его заворачивали в овчины до подбородка, и он лежал, как лежат дрова, и смотрел вверх, где над двором стояло серое небо.

О пятне он не говорил никому. Оно было с ним с самого младенчества — ровное, белое, без края, прямо за снегом. Он закрывал глаза — оно оставалось. Он смотрел в стену — оно было там, за стеной. С возрастом он понял, что пятно не растёт и не убывает, как не растёт и не убывает дверь. Дверь — это было первое точное слово, которое он к нему подобрал. Он придумывал пятну имена — и каждый раз имя оказывалось меньше, чем само пятно. Поэтому он оставил его безымянным, как снег.

Однажды он ушёл так глубоко, что его не могли вернуть весь день. Вызвали лекаря. Потом позвали свиточника из города — тот не читал над ним слов. Он велел отнести мальчика во двор, к богороще за овином, и держать его ладони на корнях, пока не стемнело. Слуги держали. Стемнело. Он вернулся сам, на закате, и спросил у ключницы: «Сколько?» Она не поняла. Он больше не спрашивал: счёт был нужен только ему, и только вначале. Теперь он возвращался легко

— как возвращаются домой.

Уходы начались раньше, чем всё остальное. Так их назвала ключница — уходы. Он сидел, смотрел в одну точку и не слышал, как его зовут. Иногда — час. Иногда — больше. Возвращался с бледными губами и говорил странные вещи: про нити над землёй, про огонь, который горит за тридевять земель, про то, что снег помнит всё, что под ним. Слуги обходили его дверь стороной — так обходят место, где горит не свой огонь. Один раз ключница бросила соль у его порога. Он не сказал ей, что соль не нужна. Что нить проходит мимо соли, как верёвка мимо мухи.

Лекарь приходил дважды в месяц. Смотрел под веки, щупал пульс, грел руки над свечой и говорил одно и то же: нервы, отпустит к весне. К весне не отпускало. Ноги не слушались его с прошлой осени — не как больные, а как чужие: их можно было поднять, если очень захотеть, но он не хотел, и никто не мог сказать почему. Лекарь перестал ходить. Двор тоже.

Дом вокруг него жил обычной жизнью: топили печи, носили воду, гремели заслонками. Слуги ходили мимо его двери без нужды — медленнее, чем мимо других дверей. В доме давно научились обходу: тихие шаги, шёпот за двумя стенами, взгляды из-за плеча.

Сегодня он потянулся.

Сначала — легко. Женщина отозвалась сразу, будто ждала. Она была оттуда же, откуда он, — он это почувствовал,

как чувствуют родной запах в чужом доме. Потом — люди. Смутно, тенями. Чужая трава, чужая река, чужой дым над водой. Он не мог разглядеть лиц. Только знал, что они есть.

Он показал их друг другу. Не думая. Просто почувствовал, что так надо.

Потом отпустил и откинулся назад.

И на миг ему показалось, что он забыл чьё-то лицо. Он не помнил, чьё. Он вообще не помнил, что кого-то забыл. Просто в груди осталось пустое место — маленькое, ровное, как то пятно в снегу.

Той ночью он ушёл — по-настоящему, глубоко, как уходил редко. Нашли его утром: сидел прямо, глаза открытые, снег на стекле за его спиной в одном месте осел, будто кто-то дышал на него изнутри. Слуга тряс его за плечо — плечо было холодным, как погреб. Он вернулся на счёт «восемьдесят три» и сказал первое, что видел там: «Она не умерла». Слуга не понял. Никто не понял.

За окном сидела ворона.

Она смотрела на него. Он смотрел на неё. Долго. Снег шёл между ними, и в этом снегу не было ни звука.

Потом ворона улетела.

Он проводил её взглядом и снова посмотрел на снег. Белое на белом. Следы уже замело.